

Художник из Нью-Амстердама

Художник жил на Манхаттане. У него была бритая голова, большой лоб и миндалевидные глаза. Казалось, что он родился от брака Сократа с одной из женщин Модильяни, взяв, естественно, лоб от папы...

Увы, такого брака быть не могло, поэтому его родителями оказались черноморские евреи, мудрые, как древний философ, и прекрасные, как парижские куртизанки.

Черноморские евреи рождали биндюжников, писателей, великих мошенников, гениальных ученых, рыбаков, аргентинских скотоводов, членов Кнессета, сенаторов, американских пиратов, одного тореадора и одного художника с Манхаттана, того самого, с модильяневскими глазами... Он жил на Манхаттане, смотрел на небоскребы и рисовал всегда одно и то же — окно поезда. Окно никогда не менялось — менялся только пейзаж за ним.

За окном мелькала то тосканская деревня, то одесский порт в июне, то рулетка в Монте-Карло...

Однажды художник написал Эмпайр Стейтс Билдинг, но он почему-то оказался на Греческой улице в Одессе...

Но чаще всего за окном мелькала мама.

Поезд мчался мимо кухни, где мама готовила котлеты, мимо очередей, где она стояла за рыбой, мимо двора, где она сушила белье.

Иногда мама отвлекалась от дел и улыбалась художнику с Манхаттана.

Художник хотел остановить поезд, но тот никогда не останавливался, а летел куда-то вперед и летел...

Тогда он бросал кисть, брал пару морковин и начинал готовить сок. Или делал сок из апельсина. Или выдавливал лимон. Он знал — когда в следующем письме мама спросит, что он кушал, — ему будет что ответить. И мама останется довольна!

И только еще раз поинтересуется, что же все-таки такое "авокадо"?

С этим авокадо вышла целая история.

В одном из писем он упомянул об этом самом авокадо. Черт его дернул написать, что здесь, в Штатах, он впервые познакомился с авокадо!

Мама об авокадо никогда не слышала. Она никогда их не видела и не подозревала об их существовании.

И что самое главное — мама читала между строк. Все там читали между строк — только так можно было чего-то понять.

И сам художник всегда читал между строк и только совсем недавно научился читать нормально.

Читать по-английски, да еще между строк — это было для него чересчур!

Но мама — мама продолжала читать по-старому.

— Не связывайся с адвокатами, — ответила мама, — это сволочи! Они тебя обдерут, как липку! Ты помнишь нашего Ландау?

Художник помнил. Он помнил, как Ландау забрал у мамы всю получку и дал ей такой совет, что... А, чтоб он сгорел! Но причем Ландау к авокадо?

И художник объяснил маме, что авокадо — это фрукты.

— То, что я тебе и писала, — ответила мама. — Это еще те фрукты! Можешь мне не рассказывать. Ты помнишь Киселева?

Художник помнил и Киселева. Из-за него они все чуть не поехали в гости к папе. В этом бы не было ничего страшного, если б папа в то время не был в тюрьме.

И художник опять объяснил маме, что же такое авокадо.

Но сколько он ни объяснял — мама читала между строк. Что вы хотите — она по-другому не умела.

Она умоляла написать, что случилось и почему он нашел этих подонков?..

И тогда, с Гарри, бизнесменом, который торговал с Москвой, он послал маме один авокадо — больше американец не взял.

Художник умолял Гарри рассказать маме все об авокадо и показать, как его надо есть.

Но американец, не выдержав местной пиццы, еще в Ленинграде, в "Астории", сожрал этот авокадо и наболтал маме всяких глупостей...

Мама поняла, что дело серьезное, и затребовала вызов! Причем на туристскую поездку.

— Я умею говорить с этими фруктами, — писала она, — мне хватит двух недель!

И тогда художник переснял статью об авокадо из Британской Энциклопедии, заказал перевод, заплатив большие деньги, заверил его у нотариуса — иначе бы мама не поверила — и послал все это в Одессу. Но и энциклопедию мама читала между строк. Вычитав, что авокадо в основном растут в Израиле, она позвонила!

— То что, ты решил переехать на Святую землю — я поняла. Но учти, даже там полно этих сволочей. Ты помнишь Ландау? Так он там!..

Художник понял, что этой проблемы ему не решить. И он нашел адвоката.

И выиграл этот процесс! Мама наконец все поняла и только просила тщательно мыть эти злополучные фрукты...

Вот так он и жил — рисовал, тщательно мыл авокадо и вспоминал море в июне.

И ждал счастливых минут. И эти минуты приходили. И обычно часа в три ночи. И обычно — по телефону. И всегда — по коллекту.

Но кто не оплатит счастливых минут!..

И всегда эти минуты доставлял ему его антрепренер.

Антрепренер жил в Европе и говорил на пяти языках. Причем сразу. Было ощущение, что он великолепно владеет каким-то средневропейским языком, который сам изобрел и которым сам пользовался. Язык был уникален — его понимали все, даже японцы, даже бедуины и даже глухие, не говоря о художнике, который уже начинал кумекать по-английски.

Главной отличительной чертой этого языка были нежные чешские интонации.

У антрепренера был бескрайний живот, необъятная борода и великолепный аппетит. Можно было подумать, что его родителями были Гаргантюа и Пантагрюэль. Познакомились они на выставке художника в Нью-Йорке.

— Мамичка! — восклицал антрепренер, глядя на полотна. — Вы есть гений, мамичка!

Художника никогда до этого не называли ни гением, ни мамичкой, и он был польщен.

— Вы покупаете картины? — спросил он.

— Что вы, мамичка, — замахал тот руками, — я организатель!

— Что-что? — не понял художник. Он тогда еще не знал средневропейского.

— Организатель, — повторил антрепренер, — и открыватель! Я открываю художников.

— Меня не надо открывать, — заметил художник, — меня давно открыли. Шампанское открыто — его надо пить.

— Мамичка, — сказал антрепренер, — вы — очибайтесь. Это закрыть можно раз и навсегда. А открывать можно много. Разве вас открыли для Европы?

— Не думаю, — сказал художник.

— Так я вас открою. Летом. В Базеле. В банке! И отрастите усы, как у Дали.

— Это еще зачем? — поинтересовался художник.

— Для лучшей продажи, мамичка!

— Ни за что! — возразил художник. — Так можно зайти далеко! Так можно продавать картины, в чем мать родила...

— На крайний случай подойдет и это! — заметил антрепренер. — Ждите звонка!

И улетел в Европу.

Ко всему прочему, антрепренер, как он утверждал, был еще и сюрреалист. Видимо, поэтому он и звонил только ночью.

Услышав звонок, художник вскакивал и, все кроша на своем пути, несся к аппарату.

— Будете говорить по коллекту? — слышал он обычно в трубке.

Он не спрашивал, с кем — по коллекту ему звонил всего один человек в мире. Даже его старая мама не позволяла себе такого. И даже когда дело касалось такой серьезной проблемы как авокадо, она звонила за свой счет.

— Буду! — отвечал всегда художник. — По коллекту, так по коллекту.

— Он разорит нас, — бросала всегда жена художника, — это три дня моей работы!

— Почему ты не спишь, — спрашивал обычно художник, — когда спит весь Нью-Йорк?!

Жена не успевала ответить, так как в трубке слышалось уже что-то средневропейское.

— Добже ивнинг, — говорил, как правило, антрепренер, — в диманшу ваша приватная вернисажа!

Или "приватная вернисажа" бывала в "динстаг", или в "мондей".

— Когда вылетаете, мамичка?..

После таких разговоров художник больше не спал... Он начинал тут же складывать чемоданы, заставлял жену среди ночи гладить рубашки и грохотал рамами, хотя до вылета часто было еще пять-шесть дней...

Художнику не терпелось к тому окну поезда, которое он так часто рисовал на Манхаттане.

В самолете он всегда пел и рисовал стюардесс. И рисовал пилота, и штурмана, которого чуть не сбил с курса.

Попробуйте не сбиться с курса, когда надо сидеть в профиль... Но художнику было наплевать, сбит курс или нет, сядут они в Париже или в Лондоне. Лишь бы в Европе.

И каждый раз он открывал Европу, словно Колумб Америку.

— Здравствуй, Европа! — говорил он еще с трапа. И казалось, что вся Европа, во всяком случае, Западная, отвечала ему:

— Здравствуй, художник из НЬЮ-АМСТЕРДАМА.

Потому что, хотя он и жил в Нью-Йорке, но всем говорил, что обитает в Нью-Амстердаме.

И на то были свои причины. В этом названии для него сочетались и Нью-Йорк, и Голландия.

Художник обожал Голландию. За то, что она пригрела Спинозу, за Рембрандта с Саскией и за голландский сыр. Нет, за сыр он больше любил Швейцарию, потому что нигде не было такого "грюйера" и такого "тартара". И нигде не было таких Альп, такого Женевского озера и такой демократии, за которые он тоже любил Швейцарию. Правда, когда речь шла об озерах, всегда всплывала голубая Финляндия. И он любил ее тоже.

Короче — художник любил Европу. Иногда ему даже казалось, что это евреи открыли ее — иначе почему ж она называется ЕВРОпа...

А Голландию он любил за голландского консула в Москве. Консул действительно был весь голландский — он курил голландский табак, носил голландский костюм, и в кабинете его пахло голландским сыром.

Он был похож на шкипера, которого бурей, прямо с "летучего голландца", занесло в посольский кабинет.

У художника в то время было только одно голландское — сопли, которые текли от дикого московского холода и только что испытанного страха. Потому что, когда пронесишь на своем теле архив через советского майора, который тебя видит до трусов и дальше, — испытываешь страх... Если бы не худоба художника, он бы не смог разместить на себе весь архив. К счастью, майор не заметил, как быстро растолстел будущий художник из Нью-Амстердама, до этого они не были знакомы.

Художник вошел к консулу смело — он знал, что голландцы приучены к живописи.

Консул предложил художнику стул.

— Сколько вам надо денег? — спросил он.

В основном отъезжающие приходили к голландцу за деньгами. И он давал — кому двести, кому пятьсот... Он давал щедро. Может, потому, что деньги были израильские.

Все с удовольствием дают советы и распоряжаются чужими деньгами...

— Сколько вам надо? — повторил голландец.

Несмотря на повторение, художник неправильно истолковал вопрос.

— Я не собираюсь их продавать, — ответил он.

— Чего? — удивился голландец.

Художник начал раздеваться. Он снял пиджак, рубаху и взялся за брюки.

Консул видал многое на своем веку, кроме мужского стриптиза в посольстве.

— Что вы делаете? — спокойно спросил он.

— Распаковываю архив, — ответил художник и стал выкладывать на стол свои эскизы, наброски, тетради, блокноты и акварели. — Вот, шестьдесят лет жизни и сорок лет творческой деятельности. Это мой архив! Вся моя жизнь на вашем столе.

— Что вы имеете в виду?

— Они выпускают мое тело и хотят оставить здесь мою душу.

Консул затаился трубкой.

— Что вы предлагаете? — спросил он.

— Через три дня это тело, — сказал он, — покинет эту страну! Тело поедет поездом. Вы можете переправить душу дипломатической почтой?

— Какое отношение имеет душа к дипломатии? — улыбнулся консул.

— Не будем обижать вашу уважаемую профессию, — заметил художник, — может, душа и не имеет отношения к дипломатии. Но к некоторым дипломатам?

— Что вы имеете в виду? — спросил консул.

— Вас, — ответил художник. — Мой глаз не ошибается. Вы — душевный дипломат.

— С чего вы взяли?.. Нет, нет. Когда-то, может быть, когда-то...

— И сейчас тоже, — заявил художник.

— Не-ет... Все прошло... Вот когда я был шкипером...

— Вы были шкипером?! — вскричал художник.

— Еще каким!

— Значит, вы возили контрабанду?!

Консул поперхнулся.

— Никогда, — сказал он, — ни разу!

— Ни разу?!!

— Ну, один раз, по глупости! И это была рыба! Которую мы, к тому же, не продали.

— Послушайте, — сказал художник, — если вы перевозили какую-то тухлую рыбу, неужели вы не можете перевезти мое творчество?!

— Нет! — громко произнес консул. — Нет!

— Хорошо, — печально ответил художник и достал кисть, — хорошо. Сейчас я набросаю ваш портрет, и вы сами увидите, какой я художник и какой вы добрый.

Он достал холст.

— Сядьте в профиль.

— Но там очередь.

— Я не Рембрандт, но художник! Пятнадцать минут у вас есть?

Пятнадцать минут бывший шкипер сидел в профиль к будущему художнику из Нью-Амстердама. Он делал страшные гримасы, чтобы художник не нашел в нем ни грамма добра.

Через четверть часа художник протянул ему портрет.

— Вы видели когда-либо более доброе лицо?

Бывший шкипер не видел. Он был изображен во фраке, на капитанском мостике фрегата, глядящим на горы бумаги, высящиеся на палубе.

— Что это? — спросил он, указывая на кипы.

— Мой архив, — ответил художник.

Бывший шкипер бывалым взглядом оглядел архив.

— Это все? — спросил он.

— Все!

— М-да... — он набил трубку. — Наша Голландия, мой дорогой, очень маленькая страна. Сорок одна тысяча квадратных километров. И у нас маленькая дипломатическая почта. Ваших бумаг нам хватит на месяц.

— Я не тороплюсь, — ответил художник. — И потом, если маленькая дипломатическая почта спасет большого мастера — разве это плохо? У нас вот большая дипломатическая почта, а какой от нее прок?

Консул долго молчал. Наверное, в этом не было ничего удивительно-го. Говорят, голландцы любят помолчать.

— И это тоже дипломатической почтой? — спросил он, указывая на свой портрет.

— Это вам, — улыбнулся художник.

...Никогда художник из Нью-Амстердама не был дипломатом, но его самые дорогие вещи тряслись вскоре в дипломатическом багаже...

И вот, когда ему особенно не писалось, и за окном поезда, которое он рисовал, вдруг появлялись мрачные картинки, он откладывал краски, брал стул, лез на шкаф и начинал перебирать свой архив. И перебирая его, он и увидел, как постарела его мама.

Там, в Одессе, он часто навещал ее, приходил, сидел на кухне, и пока она стряпала ему, он ее рисовал. Раза два-три в неделю... Лет тридцать... Не замечая, как она стареет. И вот здесь, в Нью-Амстердаме, вдруг заметил. Заметил, как она согнулась. Была стройной — и вдруг, будто ветер подул... И только здесь, на Манхаттане, так далеко от нее, он это увидел.

Он смог проследить, когда появились первые морщины и когда она впервые одела очки. И когда черные волосы сменились седыми.

Художник слышал, как мама спрашивала его: "что ты получил сегодня

в школе, мой мальчик" и "почему у тебя разбиты коленки", и "почему б тебе не стать инженером, как все нормальные люди". И "береги себя, сыночек" и "не лезь под пули", и "постарайся вернуться назад"...

А потом, когда он вернулся — "почему б тебе не жениться? Она такая красивая девочка" и "почему ты рисуешь этих голых теток", и "почему у тебя такие грустные глаза?".

И, наконец, "пиши"...

И вот за этими-то вопросами, за этими "почему" и "отчего", она и постарела...

И он писал своей постаревшей маме, и рассказывал ей все, даже про авокадо...

...Звонок раздался, как всегда, в три ночи. И, как всегда, в кредит. В темноте он еле нашел трубку.

— Будете говорить по коллекту?

— Это он, — простонала жена. — И ты опять потащишься в Европу.

— С чего ты взяла? Мы ж еще не знаем, что он предложит.

— Мы не знаем... Ну, ну... Потащишься — и опять не продашь ни одной картины!

— Кто знает? — сказал он, — Раз на раз не приходится.

— У тебя именно раз на раз!

— Почему? В прошлую поездку чуть было не продал.

— Чуть было... Ты опять будешь писать невесть что, каких-нибудь нимф, как тогда, и наш дом снова превратится в филиал 42-й улицы с табунами голых метисок.

— Кто виноват, что этот цюрихский воротила обожает метисок? — спросил художник.

— Почему же он их тогда не купил?

— Их ненавидит его жена, — ответил он.

— Она что, расистка?

— Я думаю, здесь иная причина...

Они б еще, может, долго так перебрасывались, если б в трубке не раздался нежный баритон антрепренера.

— Добже ивнинг, мамичка, — произнес он, — диманшу ваша приватная экспозиция!

— Где? — спросил нетерпеливо художник. — Why?

— Швейцария, — ответил антрепренер, — малюйте виноградники!

— Зачем? — удивился художник. — С какой стати?

— С такой, — просто ответил антрепренер.

— Но почему? Что это такое? В прошлый раз я вынужден был рисовать лесбиянок, до этого — тюленьих детенышей, теперь виноградники! Я не разбираюсь ни в первом, ни во втором и ни в третьем!

— Мамичка! — взмолился антрепренер, — Евреев, которых вы малоее, не треба в горах.

— В каких горах?!!

— В Альпах, мамичка!

— В Альпах?!!

— Вернисаж в горах, мамичка. Виноградари не разбираются в евреях. Они разбираются в виноградниках.

— Но я в них не разбираюсь!

— Пойдите на базар, мамичка, посмотрите виноград, подороже, и повесьте его на дерево.

— На дерево? — переспросил художник, — Вы уверены, что он растет на дереве?

— А почему бы и нет? Если яблоки и грушки на дереве, то где, по-вашему, быть винограду?

— Где хотите, — ответил художник, — я нарисую его, где вы скажете.

— Добже! Только рисуйте покрупнее, не как лесбиянок. Учтите, горцы покупают виноградник, а не картину! Побольше винограду на одной картине.

— Как я успею столько винограду к диманшу?! Можно к сандэй?

— Мамичка, — вскричал антрепренер, — что вы такое говорите? Диманш и сандэй — это же "ля мэм шоз"! Одно и то же! Нэ спа?

— Я не сплю, не сплю, — бросил художник, — я хотел сказать: сэтэрдэй! Сэтэрдэй — это что? Это какой день?

— Суббат, — ответил антрепренер, — суббат шолом! А сандэй — это диманш-шолом. Чикаем диманш-шолом, мамичка.

— Не могу, — закричал художник, — не успеваю!

— Диманш-шолом — вся аристокрацья в горах, мамичка!

— Но почему горы? — жалобно спросил художник, — Как я туда, простите, заберусь?

— На авионе, — парировал антрепренер, — я нашел авиону!

— Для меня?!!

— И для аристокрацьи! На вернисажу — в авионе!!! Вы где-нибудь слыхали такое, мамичка? Малюйте горы — и мы станем миллиардерами!

— Горы или виноград? — уточнил художник.

— Виноград в горах! — ответил антрепренер, — и не ниже трех тысяч метров над уровнем моря!

— Боже, что вы со мной делаете. У меня горная болезнь. Вы не можете организовать выставку пониже? Где-нибудь в низине.

— Абсолютно аусгешлоссен, — произнес антрепренер, — картины на восхождении. Аристокрацья тоже...

...Той же ночью художник начал рисовать горы и виноград. Только Бог и жена знали, чего ему это стоило. Он всегда мечтал писать море и евреев, а средневропейский антрепренер толкал его в горы, к винограду, к лесбиянкам...

Он писал горы, невысокие — он боялся, что на высоких у него закружится голова. На вершинах росли диковинные деревья. С деревьев свисал виноград, по три доллара за кило. Такой он видел на нью-йоркском рынке.

А потом он нарисовал маму. На нескольких вершинах она собирала виноград, и вокруг нее стояли виноградари с библейскими лицами. Он так и назвал картины — "Мама в горах", "Мама на перевале", "Мама, покрывающая Мон-Блан".

— Скажи мне, — вздохнула жена, — когда ты уже расстанешься с этим папичкой? Пять раз ты мчался в Европу. И что?..

— Погладь мне, пожалуйста, рубашки, — попросил художник.

...Вернисаж открылся на уровне трех с половиной тысяч метров. На вернисаже были горные стрелки, проводники, спасатели, егеря, один пастух и несколько баранов.

На альпийской траве, в кислородной маске и выглаженной рубашке, сидел художник.

— Где аристократия? — приподняв маску, спросил он.

— Катастрофа, — объяснил антрепренер, — авиона задела за гору. Аристокрацья в шпитале...

Мама художника перестала собирать виноград на картинах.

— Сынок, — печально говорила она, — зачем тебе бараны в горах? Спускайся в долину. Спокойно поешь и брось, наконец, этого папичку. Это хвороба, а не папичка!..

— Послушайте, — сказал художник, — вы просили виноград — я нарисовал виноград. Но, тем не менее, у меня такое впечатление, что сейчас опять не купят ни одной картины.

— Не купят, — ответил антрепренер.

— Вы можете объяснить, почему? Разве это не виноград? Или это не Альпы?

— Потому что это абсурдная живопись, мамичка. Я вас просил реализм, а вы мне дали абсурд. А они ничего не понимают в абсурде!!!

— Где? Где вы взяли абсурдную живопись? Покажите мне ее!

— Виноград на дереве — по-вашему, не абсурд.

— А где же он растет?

— На кустах мамичка!

— Вы-таки хвороба, — сказал художник, — спустите меня вниз. Я хочу вниз!

— Нема авиона, — развел руками антрепренер, — могу предложить вам горные лыжи. Это "Росиньоль". На них вы спуститесь часа за два.

— Куда, — спросил художник, — на тот свет? Так туда я спущусь гораздо быстрее.

— Тогда ждите лета, — посоветовал антрепренер.

До лета было далеко, и художник решил спускаться сам. И не на лыжах — на мягком месте. Как суворовские герои.

Это был кошмар. Он обгонял лыжников, подъемники, личный вертолет, хищных птиц, обвалы, делая сальто, кульбиты и периодически свободно паря.

И все время он слышал вздохи мамы.

Да, это был кошмар. Три месяца после этого он рисовал и ел стоя. На предложение сесть он вежливо отвечал:

— Спасибо, я постою.

За время спуска он потерял семь кило и вместо Швейцарии спустился в Италию, где был арестован карабинерами...

...Он не мог слышать об антрепренере и ничего не хотел знать.

Он смотрел на Манхаттан и понял, что тот красив. И не подходил к телефону, когда звонили в три часа ночи.

Жена пекла ему пироги и делала котлеты, такие же, как когда-то мама. Он даже нарисовал ее. Правда, она получилась похожей на маму.

Жена, похожая на маму, парила над Европой. Она летела над Виа Кондотти, над Сэн-Жермен де Прэ, над Лазурным берегом, над казино Монте-Карло и даже над этими проклятыми горами.

Так продолжалось полгода.

Потом вдруг художник начал просыпаться ровно в три часа ночи. Это было как болезнь. Потом пошли осложнения. Он начал снимать трубку. Он слушал гудки, вздыхал и вешал ее. Затем он начал разговаривать.

— Согласен по коллекту, — говорил он и чего-то ждал...

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б однажды, ровно в три, не раздался звонок. Художник прыгнул, как барс.

— Где вы были? — рявкнул он, — и почему не звонили?

— Во-первых, я звонил, — ответил антрепренер, — а во-вторых, у меня живот. Врач прописал мне шесть раз в день есть, остальное — спать! Я спал и готовился к санаторию. Сейчас я в санатории.

— Понятно, — сказал художник, — кого мы рисуем — язвенников, желудочников?

— Цыган, — ответил антрепренер, — малюйте коней и цыган!

— Папичка, — поинтересовался художник, — вы в каком санатории — желудочном или в нервном?

— Вы не знаете цыган, маэстро, — заявил антрепренер, — вы не знаете, как они любят свободу! Это удивительный народ!

— Вы-то их откуда знаете? — поинтересовался художник.

— Они тут разбили табор. Звучат песни, горят костры! Чавела, мамичка! Они раскупят вас, и мы станем миллионерами!..

И художник принялся рисовать цыган.

— Идиот, — шумела жена, — куда ты едешь? Тебя украдут.

— Я ценен только для тебя, — отвечал он, — и потом, я не конь...

Цыгане у художника получались — ведь он жил в Одессе, недалеко от Молдавии, где когда-то кочевали Земфира и Алеко. И он писал табор за табором. в воздухе витали огни и свобода...

...Выставка была под открытым небом.

На вернисаже, по зеленому лугу, как у великого одессита, ходили женщины и кони.

Затем они расселись по кибиткам и укатили.

— Уже? — спросил художник.

— Вы разве не знаете, что это кочевой народ, — заметил антрепренер, — они долго не могут на одном месте.

— Да, но выставка?

— Собирайте живо ваши картины, — приказал антрепренер, — я знаю, где они разобьют свой новый табор...

На новом месте все повторилось...

Так они кочевали около месяца.

Художник пил вместе с ними бессарабские наливки, скакал через костер, кричал "чавела", стонал "Очи черные", заливал вином скатерть белую и орал "поцелуй меня — не отравишься!"

Мало-помалу он сам становился цыганом, и однажды почувствовал страстное желание украсть коня.

Но что бы он с ним делал?..

Он скакал, пел и в тайне ждал, что кто-то купит хоть одну картину. Ждал он долго. Наконец, одно полотно украли.

Художник был рад.

— Значит, я нарисовал прекрасного коня, — сказал он.

И они вновь поехали за табором. Но в этот раз табору все-таки удалось от них смыться.

Кроме украденной, больше ни одной картины не купили.

— И знаете, почему, мамичка?! — злорадно спросил антрепренер.

— И не хочу знать.

— А потому, — продолжил он, — что вы вместо цыган намалевали евреев!

— Что хотел, то и намалевал, — заметил художник.

— Даже у ваших коней еврейские глаза, — кричал антрепренер, — посмотрите, сколько в них печали. Их что, ведут на убой?

— Не ваше дело, — отпарировал художник, — куда их ведут.

— А ваши цыганки?! Это же ваша мама. Она что — цыганка, я вас спрашиваю?

— Мою маму я вас прошу вообще не касаться.

— Нарисовали, понимаете ли, еврейский табор, и хотите всучить его цыганам. У них своих болячек хватает.

— Что вы понимаете в цыганах, — бросил художник, — чавела?!

— Мамичка, — примирительно сказал антрепренер, — когда вы уже поймете, что евреи сегодня не товар, и что когда заказывают цыган — не надо малевать библейские лица.

— Так вы немножечко антисемит? — пропел художник.

— Я, к вашему сведению, немножечко еврей! — загорелся антрепренер, — но не дилетант, как вы, а профессионал! И кто, наконец, организатор экспозиционных — я или вы?!

— Что? — не понял художник. От волнения он забыл среднеевропейский язык.

— Кто организатор, я спрашиваю?!

— Послушайте, организатор, — вдруг сказал художник, — оставьте меня в покое! Мне надоели ваши лесбиянки на конях, ваши горы с виноградом и виноградари с цыганками! Я писатор, вы разумеете, писатор!

Художник неожиданно заговорил по-среднеевропейски.

— Я пишу картины и не умею писать товар, Верните мне мои карти-

ны и оставьте себе ваш товар. И кончен бал. Мне надоели ваши вернисажи в диманшу и ваша аристокрация в горах. Где мой билет на Нью-Амстердам?!!

И художник улетел.

А антрепренер попал в шпиталь. У него опять заболел живот. И никто не мог найти, где болит. Иди найди, когда его живот превосходил по размерам среднюю прибалтийскую дюну...

...За окном у художника был Манхаттан. На окне — морковный сок. И он мог рисовать все, что хотел. Но почему-то не писалось. Неожиданно он начал вновь есть авокадо. Говорил со сна по-среднеевропейски. Читал "Цыган" Пушкина. Будил жену криками "чавела" и однажды сам у себя украл портрет коня.

Иногда он все-таки думал, как ему хорошо, как спокойно, не надо лезть в горы, не надо спускаться прямо в лапы полиции, не надо заставлять маму собирать виноград на вершинах и носиться в поисках табора.

Но во сне он опять летал над Мон-Бланом, прогуливался с лесбиянками по Виа Венетто и пил кофе со сливками "аристокрация".

Однажды, глубокой ночью, он встал, побрился, надел лучший костюм, нацепил "бабочку" и собрал чемоданы. Затем он подошел к телефону и набрал номер.

— Где вы, мамичка, — услышал он в трубке, — я скучаю по вас...

